

Т. П. ХЛЫНИНА

ВРЕМЯ ИСТОРИИ: ИСЧЕЗАЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ ИЛИ НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОШЛОГО?

Представление о времени как о некоей устойчивой данности, наполняемость и изменчивость которой традиционно выступают в качестве неотъемлемых атрибутов исторического развития, вот уже не одно столетие формирует собою облик академического знания о прошлом. Именно время признается главным действующим лицом истории, а его диахронное измерение воспринимается тем самым отличительным свойством, которое и «составляет специфику истории на общем поле всех социальных наук» (1). Вековые споры, ведущиеся вокруг категории исторического времени, при всей неоднозначности озвучиваемых решений вплоть до недавних пор положения этого не опровергали, хотя и отмечали ряд существенных трудностей, сопряженных с пониманием природы темпоральности как таковой¹.

В частности, специалистами обращалось внимание на наличие проблем по преимуществу внешнего свойства, не связывающих происхождение времени истории с личностными особенностями его наблюдателей и исследователей. Данное обстоятельство находило и по-прежнему находит свое отражение в соперничающих между собою периодизациях различного рода исторических явлений и процессов, выявлении их преемственности, социальной идентичности и ее исчезновения. При этом временная протяженность анализируемых объектов рассматривается специалистами не в качестве

Хлынина Татьяна Павловна – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела истории Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований (г. Майкоп).

¹ Одной из последних работ, посвященных рассматриваемой проблеме и наиболее полно учитывающей достижения в этой области исследования, является монография (2).

единицы измерения, а как «сама субстанция истории», в каком-то смысле встроенная в вопросы, документы и факты и делающая историю «если и не вполне доступной пониманию, то, по крайней мере, уже мыслимой» (3). Именно объективированность исторического времени и стала той своеобразной индульгенцией, которая не позволяла историкам привнести в его осмысление элементы современного им естественнонаучного и гуманитарного познания. Хотя сам факт неоднородности так называемого природного времени (*chronos*), своим происхождением обязанный теории относительности и физике больших величин, уже в первой половине минувшего столетия стал одним из основополагающих обстоятельств формирования неклассической парадигмы научного знания.

В новой системе рационального миропонимания стремительно исчезнут привычные представления о пространственно-временной непрерывности окружающего мира, а нестабильность его существования станет основополагающим принципом для понимания динамики формирования основных социальных систем. Важнейшим показателем смены научных ориентиров окажется возникновение в 1960–1970-е гг. целого ряда междисциплинарных исследований, связанных общей идеей о возможности существования единой науки о самоорганизации, получившей название синергетики или теории диссипативных систем (*complexity science*). В то же самое время американский физик Т. Кун выдвинет идею о структуре научных революций, кардинально пересматривающую сам процесс развития и прогресса научного знания и связывающую его с новыми теоретическими и методологическими прорывами в понимании того или иного объекта исследования (4). Взаимопроникновение методологических багажей естественнонаучной и гуманитарной областей познания с тех самых пор будет признаваться непременным условием полноты и относительной достоверности в решении любой научной проблемы, а происходящие в них открытия – поводом к проверке «на прочность» собственных теоретических построений.

Однако ни эти открытия, ни последовавшие за ними «перевороты» в лингвистике с ее новой концепцией языковой реальности и появлением «нового романа» не смогли изменить традиционного представления истории о собственном времени. Столь длительная невосприимчивость исторической науки к происходившим в пространстве сопредельных с нею дисциплин новациям едва ли проясняется ее традиционным консерватизмом и излишней подозрительностью к «запаху современности». Стабильность прошлому обеспечивали представления о несотворимом и вечном времени, «исчезновение» которого к моменту настоящего можно было рассматривать в качестве некоей изменившейся субстанции, выражаемой не совсем удачной фигурой речи.

Первую брешь в таком понимании времени «пробило» исследование мира Средиземноморья крупнейшего представителя «Школы Анналов» Ф. Броделя, которое хотя и было выполнено в виде диссертации, до сих пор «продолжает пленять как своим непреходящим значением, так и своей эlegantностью» (5). В его вводной части Ф. Бродель предложил и обосновал идею неоднородности социального времени, в некогда едином потоке которого отчетливо различались «тысячи ускорений и замедлений». В русскоязычной версии она получила известность как категория большой временной длительности, в чьих пределах одновременно сосуществуют времена географических и материальных структур, экономических циклов и событий политической жизни. Их относительная самостоятельность потребовала не только поиска взаимосвязи различных темпоральных рядов, но и обозначила проблему куда более существенного свойства, а именно зависимости течения времени от природы анализируемого в его координатах объекта. И хотя речь велась только о различных регистрах измерения времени, уже тогда можно было предположить, что неоднозначность его восприятия, в конечном итоге, приведет к переосмыслению природы времени прошлого как такового.

Предположение это довольно скоро начало обретать свои зримые черты в пространстве такого весьма неоднозначно истолковываемого явления, как постмодернизм. Понимаемый в предельно широком смысле как «многозначный и динамически подвижный в зависимости от исторического, социального и национального контекста комплекс философских, эпистемологических, научно-теоретических и эмоционально-эстетических представлений», он уже к 1980-м гг., преодолев внутреннюю раздробленность, начинает претендовать на некое целостное единство взглядов (6). Ключевым положением в новой системе мировосприятия становится идея реальности как текста, с его структурирующими связями и основополагающими характеристиками, текста, порождаемого дискурсивными (речевыми) практиками и являющимися ее осязаемым воплощением. Столь радикальный пересмотр некогда незыблемых представлений о фундаментальных свойствах социальной материи повлек за собою исчезновение многих ее прежних отличительных признаков.

Французский историк М. Фуко, а именно на таком профессиональном обозначении своей интеллектуальной деятельности он настаивает, соединив различные «эпистемологические практики», предлагает новую разновидность исторического познания, с легкой руки его коллеги П. Вена получившую название истории-генеалогии (7). В ее пространстве, или как настаивает сам автор – археологии, не игнорируется ничто из того, что составляет предмет традиционной истории: она не проходит мимо общества, экономики, государства с его разветвленной системой многообразных институтов, в поле ее

зрения по-прежнему остаются человеческая сексуальность и безумие (8). Новая история лишь по-другому структурирует материал – «не по векам, народам и цивилизациям, а по практикам; интриги, о которых она рассказывает, составляют историю практик, ставших для людей истинами, и историю их борьбы вокруг этих истин» (9).

Предложенная методология полностью исключает временной срез жизни общества, ограничиваясь констатацией факта разреженности его практик и чрезвычайно редких объектов. М. Фуко неоднократно обращает внимание читателя на практически полное отсутствие в реальности естественного объекта как такового: его существование является результатом действия всевозможных практик – объективаций, актуализирующих пустоты или дыры пространства. При этом, как свидетельствует П. Вен, «практика – это не загадочная субстанция, не подполье истории, не скрытый двигатель: это то, что делают люди (в самом прямом смысле слова). И, если она в каком-то смысле “сокрыта” ..., то это только потому, что она разделяет судьбу почти всех форм нашего поведения и всеобщей истории: часто мы осознаем это, но у нас нет соответствующего понятия» (10). Именно трансформация практик, отрицающая эволюцию или многовековое изменение одного и того же объекта, заменяет («аннигилирует») собою категорию времени и превращает ее в переменчивый калейдоскоп отношений.

Не менее любопытной разновидностью процесса воссоздания прошлого на сегодняшней день является замена «императива науки» «логикой памяти», которую зачастую отождествляют с практикой устной истории (11). Претендуя на статус особой сферы научных исследований, отдающих предпочтение свидетельствам устного происхождения, она начинает восприниматься профессиональным сообществом в качестве реальной угрозы существованию истории как области научного знания.

Однако замена корпуса традиционно используемых историками письменных источников «свидетельствами, полученными от живого человека», на самом деле ставит проблему совершенно иного порядка, никак не сопряженную с исчезновением истории как научного знания. Речь идет о проблеме сугубо методологического толка, сводящейся, по мысли П. Рикера, к сопоставлению «воли к правде», характерной для истории, с «верностью памяти», являющейся «первичной по отношению к проблеме репрезентации прошлого в истории» (12).

Обозначив наиболее прозрачные места встреч профессиональной истории и человеческой памяти, исследователь, тем не менее, оставил открытым вопрос о приоритете одного из двух средств репрезентации прошлого: «Преимущество памяти состоит в том, что она признает прошлое бывшим, хотя более уже и не существующим; преимущество истории – в том, что она

способна расширить сферу обзора в пространстве и во времени, способна подвергать свидетельства критическому рассмотрению, объяснять и понимать, способна прибегать к риторическому могуществу текстов, а главное давать справедливую оценку соперничающим воспоминаниям людей измученных и зачастую глухих к чужим мучениям. Сказать, что важнее – воля к верности, отличающая память, или договор о справедливости, связывающий историка с его читателями, – не в наших силах». Его разрешение П. Рикер адресует читателю, причем читателю-гражданину (13).

Наиболее зримые очертания профессиональное разрешение поставленной проблемы находит, прежде всего, в сфере изучения этнической истории, ставшей в последнее время своеобразным прибежищем гносеологических парадоксов и смелых теоретических экспериментов (14). Ее переосмысление зачастую оказывается вызванным реальными потребностями самих народов, которые «хотят быть наконец-то услышанными», и произвольно возводится отдельными исследователями в ранг «этнической революции в историографии» (15).

В этом отношении обращает на себя внимания ряд обстоятельств, вызванных существенными изменениями в понимании как самой природы этничности, так и представлениями об исчезновении времени в истории. С одной стороны, исследователи этногенетических процессов вслед за ирландским социологом Б. Андерсоном все чаще говорят о необходимости перевода изучаемой проблематики из плоскости «естественного феномена» в область «воображаемых сообществ» (16). С другой – на смену представлениям об этнической общности как совокупности объективных признаков, приходит ее понимание как реальности отношений, а такое казавшееся до недавнего времени незыблемым понятие как нация и вовсе утрачивает свою этническую коннотацию, перемещаясь в плоскость символического понимания (17).

Символический аспект формирования нации сводится к тому, что она существует не только в качестве реальной группы людей, но и в форме представления, «символической реальности, живущей в их умах». Странниками подобного понимания нации особо подчеркивается, что в «таком большом сообществе, как нация, в котором его члены заведомо не могут знать друг друга, особую роль играют представления “мы-группы” о себе и идея общности национальных характеристик» (18).

Проблема конструирования национального самосознания в условиях предельной невнятности этнической идентификации становится, таким образом, одним из ключевых направлений в понимании современных этнополитических процессов и роли этничности в формировании новой концепции культурной и цивилизационной целостности общества. Однако если ранее в национальном самосознании специалисты усматривали лишь отражение

неких объективных характеристик жизни этносов, то сейчас многие из них указывают на приоритетное значение его символической составляющей: «Идеальные понятия об общих национальных чертах – положительных и отрицательных – такая же часть самосознания, как представление об общих культурных практиках, как, например, о формах питания или жилья. Мнение нации о географическом пространстве, где живет сообщество, о границах страны также входят в ансамбль национального самосознания как трактовка социального и экономического порядка, оценка политического режима и юридических норм. Но особую роль для коллективной идентичности национального сообщества играет представление об общем прошлом. Именно этой частью национального самосознания – историческим сознанием, памятью нации интересуются те исследователи, которые занимаются национальными местами памяти, *lieux de memoire* нации» (19).

Разработка проекта «мест памяти» принадлежит известному французскому историку и издателю П. Нора. Его воплощением стали семь томов «сложной мозаики символов культурной идентичности французов», создававшиеся в течение целого десятилетия – с 1984 по 1993 гг. Русскоязычному читателю он известен, к сожалению, лишь выборочным переводом отдельных глав, среди которых и весьма значимое в методологическом отношении изложение концептуального обоснования самого проекта (20). По заключению переводчика и автора послесловия Д. Хапаевой, «проект “Места памяти” – это не только новая концепция исторической памяти, но и самого понятия “нация”, где «на смену расово-языковой общности приходит идея культурного единства» (21). Противопоставление естественной памяти социальных групп искусственной памяти исторической науки становится отличительной особенностью конструирования последней, в пространстве которой различные сообщества и обретают желаемую коллективную идентичность.

«Места памяти», определяемые их создателем в качестве «всякого значимого единства, материального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени, превратили в символический элемент наследия памяти некоторой общности» (22), являются, по сути, «красивым выражением, ставшим золотой жилой, находкой, благодаря его способности удовлетворить потребности коллективных переживаний» (23). Будучи «точкой кристаллизации коллективного наследия», «места памяти» в нынешней ситуации «бедствий, которые выпали на долю национальной идентичности, в момент исчезновения ее ориентиров становятся главным условием оправдания ее нового образа и ее нового определения» (24).

Коллективная память современных этносов, претендующая на выражение «воли к справедливости», становится, таким образом, своеобразной версией их исторического прошлого. Она утрачивает прямую взаимосвязь с научно

обоснованными представлениями об истории реальных народов и все больше тяготеет к мифологическому компендиуму, основой которого в ситуации отсутствия «собственной письменной истории» выступают «археологические, фольклорные и этнографические источники» (25). Их введение в историографическую практику, будучи вполне оправданным, нередко приводит к непониманию даже профессиональными исследователями того обстоятельства, что отдельные периоды этнической истории не могут быть в принципе реконструированы научными средствами, а их замещение «культивируемой памятью» балансирует на грани профессионального фола (26).

Вместе с тем, появление «мест памяти» характерно и для более благополучных в отношении обеспеченности письменными источниками периодов этнической истории. Так, например, коллективным выразителем национальной идентичности для многих современных народов Северного Кавказа оказалась национальная государственность, сохранение и расширение функций которой определяло и по-прежнему определяет собой течение многих этнополитических процессов в регионе (27). Наличие различного опыта обладания таковой в прошлом, а также искусственный характер перехода этносов к индустриальной фазе своего развития, которая не приводит к «изживанию природных элементов внутриэтнической структуры» (28), способствовали формированию у северокавказских народов устойчивых представлений о собственной государственности как о вещи, исключительно самоценной и имеющей первостепенное значение в их судьбе. Существенная роль в процессе столь ангажированного восприятия массовым сознанием национальной государственности принадлежит усилиям не одного поколения исследователей, желавших видеть в ней, прежде всего, гарант этнического самосохранения народов и политического выразителя их воли.

Такого рода представления находят свое непосредственное отражение и в росте национального самосознания народов региона и стремлении восстановить историческую справедливость в отношении ряда территорий, «утраченных» в ходе неоднократных административных преобразований. По справедливому замечанию современного исследователя, «в силу того, что сформировавшаяся в годы советской власти система национально-территориального построения государственности закрепляла исторически сложившееся социально-экономическое неравенство народов в пользу одного из них, важнейшим проявлением этнополитического процесса на Северном Кавказе стало требование различных народов создать собственные национальные государства» (29).

Рассмотрение национальной государственности в качестве пространства «мест памяти», в котором сконцентрированы наиболее значимые достижения народов, выводит исследователя и на не менее существенную проблему,

сопряженную с пониманием ее временной протяженности. В связи с переживаемым гуманитарным знанием постмодернистским обновлением и вторжением в его пределы «мятежной» лингвистики с ее довольно жесткой языковой концептуализацией реальности самым радикальным образом преобразилось восприятие прошлого и, прежде всего, его неотъемлемого атрибута – исторического времени. Плавное течение необратимого времени истории, которое создавало «вечно обновляющуюся историю-процесс, объективно познаваемую, поддающуюся осмыслению в терминах прогресса и благодаря этому обнаруживающую свою социальную полезность», в конце XX в. сменяется «множеством различных, расходящихся темпоральных режимов прерывного времени мутаций и трансформаций, серией событий и процессов» (30).

Исчезновение времени в истории и его растворение в настоящем приводит к тому, что новым способом конструирования прошлого становится пространство, воплощенное в весьма честолюбивом проекте «мест памяти». Именно ему в наши дни суждено стать «единственным способом бытия истории, которая утратила свое время» (31).

Прошлое в пространстве постнеклассического знания приобретает, таким образом, символические очертания, которые внятно указывают на необходимость возвращения историческому времени его исходно «субъективного и персонально-социального значения» (*tempus*), наглядно противопоставляемого «абсолютному или природно-космическому» образу времени (*chronos*) (32). Более того, «исчезновение» времени, а вернее его растворение в более объемном антропологическом контексте «жизни различных поколений», свидетельствует о становлении его новой (для исторического исследования) разновидности – «социального времени этнографического настоящего» (33). Именно оно, по заключению современного исследователя, вбирает в себя не только конкретные практики использования времени «в наших повседневных коммуникациях», но и «передаваемый через различные каналы общественной среды опыт истории» (34).

Предельное сжатие исторического времени, переживаемое современной эпохой, а также неизбежно с ним связанный процесс сокращения диапазона памяти нынешних поколений (35), свидетельствуют о весьма важных изменениях не только антропологического свойства. Наблюдаемая в последние десятилетия своеобразная «смена вех» в используемых профессиональными исследователями прошлого его временных измерениях подводит к мысли о том, что «исторический процесс в настоящее время определяется не течением исторического времени, а практически эффективным временем жизни человека или же еще меньшим временным масштабом текущих политических решений» (36). Вероятнее всего, «историческое время» как исследовательская категория переживает не лишнюю определенную доли драматизма

ситуацию внутреннего обновления, исход которой будет определяться не столько дискуссиями о возможностях верификации прошлого, сколько темпами обновления современной нам действительности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Про А. Двенадцать уроков по истории. – М., 2000. – С. 118.
2. Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время. В поисках утраченного. – М., 1997.
3. Про А. Указ. соч. – С. 105, 122.
4. Кун Т. Структура научных революций. – М., 1977.
5. Про А. Указ. соч. – С. 123.
6. Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. – М., 2001. – С. 206–219; Руднев В. П. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. – М., 1999. – С. 220–225.
7. Вен П. Фуко совершает переворот в истории // Как пишут историю. Опыт эпистемологии. – М., 2003. – С. 390.
8. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб., 1994. – С. 155–157.
9. Вен П. Указ. соч. – С. 390.
10. Вен П. Указ. соч. – С. 358–359.
11. Селунская Н. Б. Методологическое знание и профессионализм историка // Новая и новейшая история. – 2004. – № 4. – С. 35.
12. Рикер П. Историописание и репрезентация прошлого (памяти Франсуа Фюре) // Анналы на рубеже веков: антология. – М., 2002. – С. 23.
13. Там же. – С. 41.
14. Тишков В. А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. – М., 2003.
15. Шадже А., Шеуджен Э. Северокавказское общество: опыт системного анализа. – М.; Майкоп, 2004. – С. 134.
16. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. – М., 2001.
17. Тишков В. А. Указ. соч. – С. 114.
18. Шенк Ф. Б. Концепция «Lieux de memoire» // <http://www.main.vsu.ru/~cdh/Articles/02-11a.htm>
19. Там же.
20. Нора П. Франция – память. – СПб., 1999.
21. Хапаева Д. Прошлое как вызов истории. Послесловие переводчика // Там же. – С. 297–298.
22. Нора П. Указ. соч. – С. 79.
23. Там же. – С. 76.
24. Там же. – С. 65.
25. Шадже А., Шеуджен Э. Указ. соч. – С. 132.
26. Там же. – С. 129–160.
27. Денисова Г. С. Этнический фактор в политической жизни России 90-х годов. – Ростов н/Д., 1996.
28. Там же. – С. 214.
29. Там же. – С. 149.
30. Хапаева Д. Указ. соч. – С. 305, 309.

31. Там же. – С. 323.
32. Тишков В. А. Указ. соч. – С. 267.
33. Тишков В. А. Восприятие времени // Этнографическое обозрение. – 2002. – № 3. – С. 21.
34. Там же. – С. 16.
35. Капица С. П. Об ускорении исторического времени // Новая и новейшая история. – 2004. – № 4. – С. 3–16.
36. Там же. – С. 7.